

Путаница

— Мне кажется, никто так оригинально не встречал рождества, как один из моих пациентов в тысяча восемьсот девяносто шестом году, — сказал Бутынский, довольно известный в городе врач-психиатр. — Впрочем, я не буду ничего рассказывать об этом трагикомическом происшествии. Лучше будет, если вы сами прочтете, как его описывает главное действующее лицо.

С этими словами доктор выдвинул средний ящик письменного стола, где в величайшем порядке лежали связки исписанной бумаги различного формата. Каждая связка была заномерована и обозначена какой-нибудь фамилией.

— Все это — литература моих несчастных больных, — сказал Бутынский, роясь в ящике. — Целая коллекция составлена мною самым тщательным образом в течение последних десяти лет. Когда-нибудь, в другой раз, мы ее разберем вместе. Тут очень много и забавного, и трогательного, и, пожалуй, даже поучительного... А теперь... вот, не угодно ли вам прочесть эту бумажку?

Я взял из рук доктора небольшую тетрадку, в четвертую долю листа, исписанную крупным, прямым, очень нажимистым, но неровным почерком. Вот что я прочел (оставляю рукопись целиком, с любезного разрешения доктора):

«Его Высокородию
г-ну доктору Бутынскому,

консультанту при психиатрическом отделении N-ской больницы.

Содержащегося в помянутом отделении дворянина Ивана Ефимовича
Пчеловодова

Прошение.

Милостивый государь!

Находясь уже более двух лет в палате умалишенных, я неоднократно пробовал выяснить то прискорбное недоразумение, которое привело меня, совершенно здорового человека, сюда. Я обращался с этой целью и письменно и словесно к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу больницы и в том числе, если помните, и к вашему любезному содействию. Теперь я еще раз беру на себя смелость просить внимания вашего к нижеследующим строкам. Я делаю это потому, что ваша симпатичная наружность, равно как и ваше

человеческое обращение с больными заставляют предполагать в вас доброго человека, которого еще не коснулось профессиональное доктринерство.

Убедительно прошу вас — дочитайте это письмо до конца. Пусть вас не смущает, если порой вы натолкнетесь на грамматические погрешности или на невязку во фразах. Ведь трудно, согласитесь, проживая в сумасшедшем доме два года и слыша только брань сторожей и безумные речи больных, сохранить способность к ясному изложению мысли на письме. Я окончил высшее учебное заведение, но, право, теперь сомневаюсь при употреблении самых детских правил синтаксиса.

Прошу же я вашего
особого

внимания потому, что мне хорошо известно, что все психически больные склонны считать себя посаженными в больницу по недоразумению или по проискам врагов. Я знаю, как они любят доказывать это и докторам, и сторожам, и посетителям, и товарищам по несчастью. Поэтому мне совершенно понятно недоверие, с которым относятся врачи к их многочисленным заявлениям и просьбам. Я же прошу у вас только фактической проверки того, что я сейчас буду иметь честь изложить.

Это случилось 24 декабря 1896 года. Я служил тогда старшим техником на сталелитейном заводе „Наследники Карла Вудта и К°“, но в середине декабря сильно поссорился с директором из-за безобразной системы штрафов, которой он опутал рабочих, вспылил в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил службу.

Делать мне больше на заводе было нечего, и вот, в конце рождества, я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе N., в кругу близких родственников.

Поезд был переполнен пассажирами. В том вагоне, где я поместился, на каждой скамейке сидело по три человека. Моим соседом слева оказался молодой человек, студент Академии художеств. Напротив же меня сидел какой-то купчик, который выходил на всех больших станциях пить коньяк. Между прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в N., на Нижней улице, есть своя мясная торговля. Он также называл свою фамилию; я теперь не могу ее припомнить с точностью, но — что-то вроде Сердюк... Средняк... Сердолик... одним словом, здесь была какая-то комбинация букв С. Р. Д. и К. Я так подробно останавливаюсь на его фамилии потому, что, если бы вы отыскиали этого купчика, он совершенно подтвердил бы вам весь мой рассказ.

Он среднего роста, плотен, с розовым, довольно миловидным пухлым лицом, блондин, усы маленькие, тщательно закрученные вверх, бороду бреет.

Спать мы не могли и, чтобы убить время, болтали и немного пили. Но к полуночи нас совсем разморило, а впереди предстояла еще целая бессонная ночь. Стоя в коридоре, мы полушутя, полусерьезно стали придумывать различные средства, как бы поудобнее устроиться, чтобы поспать хоть три или четыре часа. Вдруг академик сказал:

— Господа! Есть великолепное средство. Только не знаю, согласитесь ли вы. Пусть один из нас возьмет на себя роль сумасшедшего. Тогда другой должен остаться при нем, третий пойдет к обер-кондуктору и заявит, что вот, мол, мы везли нашего психически расстроенного родственника, что он до сих пор был спокоен, а теперь вдруг начал приходить в нервное состояние, и что ввиду безопасности прочих пассажиров его не мешало бы заблаговременно изолировать.

Мы согласились, что план академика прост и верен. Но никто из нас не высказывал первым желания сыграть роль сумасшедшего. Тогда купчик предложил, мигом рассеяв наши колебания:

— Бросим жребий, господа!

Изо всех троих я был самый старший, и мне надлежало бы быть самым благоразумным; но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и... конечно, вытащил узелок из зажатого кулака мясоторговца.

Комедия с обер-кондуктором была проделана с поразительной натуральностью. Нам немедленно отвели купе.

Иногда, во время больших остановок, мы слышали около нашей двери сердитые голоса, громко говорившие:

— Хорошо-с... Ну, а это купе?.. Потрудитесь его отворить!

Вслед за этим приказанием слышался голос кондуктора, отвечавшего в пониженном тоне и с оттенком боязни:

— Извините, в этом купе вам будет неудобно... здесь везут больного... сумасшедшего... он не совсем спокоен...

Разговор тотчас же обрывался, слышались удаляющиеся шаги. План наш оказался верным, и мы заснули, насмеявшись вдоволь. Спал я, однако, беспокойно, точно у меня во сне было предчувствие беды. Душили меня

какие-то тяжкие кошмары, и помню, что под утро я несколько раз просыпался от собственного громкого крика.

Я проснулся окончательно в десять часов утра. Моих компаньонов не было (они должны были сойти на одной станции, куда поезд приходил ранним утром). Зато на диване против меня сидел рослый рыжий детина в форменном железнодорожном картузе и внимательно смотрел на меня. Я привел свою одежду в порядок, застегнулся, вынул из сака полотенце и хотел идти в уборную умываться. Но едва я взялся за дверную ручку, как детина быстро вскочил с места, обхватил меня сзади вокруг туловища и повалил на диван. Взмешенный этой наглостью, я хотел вырваться, хотел ударить его по лицу, но не мог даже пошевелиться. Руки этого доброго малого сжимали меня точно стальными тисками.

— Чего вы от меня хотите? — закричал я, задыхаясь под тяжестью его тела. — Убейте меня!.. Оставьте меня!..

В первые моменты в моем мозгу мелькала мысль, что я имею дело с сумасшедшим. Детина же, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял со злобным пыхтеньем:

— погоди, голубчик, вот посадят тебя на цепуру, тогда и узнаешь, чего от тебя хотят... Узнаешь тогда, брат... узнаешь.

Я начал догадываться об ужасной истине и, дав время моему мучителю успокоиться, сказал:

— Хорошо, я обещаю не трогаться с места. Пустите меня. „Конечно, — думал я, — с этим болваном напрасны всякие объяснения. Будем терпеливы, и вся эта история, без сомнения, разъяснится“.

Остолоп сначала мне не поверил, но, видя, что я лежу совершенно покойно, он стал понемногу разжимать руки и, наконец, совсем освободив меня из своих жестоких объятий, уселся на диван напротив. Но глаза его не переставали следить за мною с напряженной зоркостью кошки, стерегущей мышь, и на все мои вопросы я не добился от него в ответ ни словечка.

Когда поезд остановился на станции, я услышал, как в коридоре вагона кто-то громко спросил:

— Здесь больной?

Другой голос ответил скороговоркой:

— Точно так, господин начальник.

Вслед за тем щелкнул замок, и в купе просунулась голова в фуражке с красным верхом.

Я рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем:

— Господин начальник станции, ради бога!..

Но в то же мгновение голова проворно спряталась, громыхнул замок в дверце, а я уже лежал на диване, барахтаясь под придавившим меня телом моего спутника.

Наконец мы доехали до N. Только минут через десять после остановки за мною пришли... трое артельщиков. Двое из них схватили меня крепко за руки, а третий вместе с моим прежним истязателем вцепились в воротник моего пальто.

Таким образом меня извлекли из вагона. Первый, кого я увидел на платформе, был жандармский полковник с великолепными подусниками и с безмятежными голубыми глазами в тон околышку фуражки. Я воскликнул, обращаясь к нему:

— Господин офицер, умоляю вас, выслушайте меня...

Он сделал знак артельщикам остановиться, подошел ко мне и спросил вежливым, почти ласковым тоном:

— Чем могу служить?

Видно было, что он хотел казаться хладнокровным, но его нетвердый взгляд и беспокойная складка вокруг губ говорили, что он все время держится настороже. Я понял, что все мое спасение в спокойном тоне, и я, насколько мог связно, неторопливо и уверенно рассказал офицеру все, что со мной произошло.

Поверил он мне или нет? Порою его лицо выражало живое, неподдельное участие к моему рассказу, временами же он как будто сомневался и только кивал головой с тем хорошо мне знакомым выражением, с которым слушают болтовню детей или сумасшедших.

Когда я кончил свой рассказ, он сказал, избегая глядеть мне прямо в глаза, но вежливо и мягко:

— Видите ли... я, конечно, не сомневаюсь... но, право, мы получили такие телеграммы.., И потом... ваши товарищи... О, я вполне уверен, что вы совершенно здоровы но... знаете ли, ведь вам ничего не стоит поговорить с

доктором каких-нибудь десять минут. Без сомнения, он тотчас же убедится, что ваши умственные способности находятся в самом прекрасном состоянии, и отпустит вас; согласитесь, что я ведь в конце концов вовсе не компетентен в этом деле.

Все-таки он был до того любезен, что назначил мне в провожатые только одного артельщика, взяв с меня предварительно честное слово, что я никоим образом не буду выражать на дороге своего негодования и делать попыток к бегству.

Мы приехали в больницу как раз к часу визитаций. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре в приемную пришел главный врач в сопровождении нескольких ординаторов, смотрителя психиатрического отделения, сторожей и человек двадцати студентов. Он прямо подошел ко мне и устремил на меня долгий, пристальный взгляд. Я отвернулся. Мне почему-то показалось, что этот человек сразу возненавидел меня.

— Только, пожалуйста, не волнуйтесь, — сказал доктор, не спуская с меня своих тяжелых глаз. — Здесь у вас нет врагов. Никто вас не будет преследовать. Враги остались там... в другом городе... Они не посмеют вас здесь тронуть. Видите, кругом все добрые, славные люди, многие вас хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?

Он уже заранее считал меня сумасшедшим. Я хотел возразить ему, но вовремя сдержался: я отлично понимал, что каждый мой гневный порыв, каждое резкое выражение сочтут за несомненный признак сумасшествия. Поэтому я промолчал.

Затем доктор спросил у меня мое имя и фамилию, сколько мне лет, чем занимаюсь, кто мои родители и так далее. На все эти вопросы я отвечал коротко и точно.

— А давно ли вы себя чувствуете больным? — обратился ко мне внезапно доктор.

Я отвечал, что я больным себя совсем не чувствую и что вообще отличаюсь прекрасным здоровьем.

— Ну да, конечно... Я не говорю о какой-нибудь серьезной болезни, но... скажите, давно ли вы страдаете головной болью, бессонницей? Не бывает ли галлюцинаций? Головокружения? Не испытываете ли вы иногда произвольных сокращений мышц?

— Наоборот, господин доктор, я сплю очень хорошо и почти не знаю, что такое головная боль. Единственный случай, когда я спал беспокойно, — это в прошлую ночь.

— Это мы уже знаем, — сказал спокойно доктор. — Теперь не можете ли вы мне подробно рассказать, что вы делали с того времени, когда сопровождавшие вас господа остались на станции Криворечье, не успев сесть на поезд? Какое, например, побуждение заставило вас вступить в драку с младшим кондуктором? Или почему вслед за этим вы набросились с какими-то угрозами на начальника станции, вошедшего в ваше купе?

Тогда я подробно передал доктору все, что раньше рассказывал жандармскому офицеру. Но рассказ мой не был так связан и так уверен, как раньше, — меня смущало бесцеремонное внимание окружавшей меня толпы. Да, кроме того, и настойчивость доктора, желавшего во что бы то ни стало сделать меня сумасшедшим, волновала меня. В самой середине моего повествования главный врач обернулся к студентам и произнес:

— Обратите внимание, господа, как иногда жизнь бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Приди в голову писателю такая тема — публика ни за что не поверит. Вот это я называю изобретательностью.

Я совершенно ясно понял иронию, звучавшую в его словах. Я покраснел от стыда и замолчал.

— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю, — сказал главный врач с притворной ласковостью.

Но я еще не дошел до эпизода с моим пробуждением, как он вдруг огорошил меня вопросом:

— А скажите, какой у нас сегодня месяц?

— Декабрь, — не сразу ответил я, несколько изумленный этим вопросом.

— А раньше какой был?

— Ноябрь...

— А раньше?

Я должен сказать, что эти месяцы на „брь“ всегда были для меня камнем преткновения, и для того, чтобы сказать, какой месяц раньше какого, мне нужно мысленно назвать их все, начиная с разбега от августа. Поэтому я несколько замялся.

— Ну да... порядок месяцев вы не особенно хорошо помните, — заметил небрежно, точно вскользь, главный врач, обращаясь больше не ко мне, а к студентам. — Некоторая путаница во времени... это ничего. Это бывает... Ну-с... дальше-с. Я слушаю-с.

Конечно, я был неправ, сто раз неправ, и сделал неприятность только самому себе, но эти иезуитские приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло:

— Болван! Рутинер! Вы гораздо более сумасшедший, чем я!

Повторяю, что это восклицание было неосторожно и глупо, но ведь я не передал и сотой доли того злобного издевательства, которым были полны все вопросы главного врача.

Он сделал едва заметное движение глазами. В эту же секунду на меня со всех сторон бросились сторожа. Вне себя от бешенства я ударил кого-то по щеке. Меня повалили, связали...

— Это явление называется *raptus* — неожиданный, бурный порыв! — услышал я сзади себя размеренный голос главного врача в то время, когда сторожа выносили меня на руках из приемной.

Прошу вас, господин доктор, проверьте все написанное мною, и если оно окажется правдой, то отсюда только один вывод — что я сделался жертвой медицинской ошибки. И я вас прошу, умоляю освободить меня как можно скорее. Жизнь здесь невыносима. Служители, подкупленные смотрителем (который, как вам известно, — прусский шпион), ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество стрихнину и синильной кислоты. Третьего дня эти изверги простерли свою жестокость до того, что пытали меня раскаленным железом, прикладывая его к моему животу и к груди.

Также и о крысах. Эти животные, по-видимому, одарены...»

— Что же это такое, доктор! Мистификация? Бред безумного? — спросил я, возвращая Бутынскому рукопись. — Проверил ли кто-нибудь факты, о которых пишет этот человек?

На лице Бутынского мелькнула горькая усмешка.

— Увы! Здесь действительно произошла так называемая медицинская ошибка, — сказал он, пряча листки в стол. — Я отыскал этого купца, — его фамилия Свириденко, — и он в точности подтвердил все, что вы сейчас прочитали. Он сказал даже больше: высадившись на станции, они вместе с художником

выпили так много чаю с ромом, что решили продолжать шутку и вслед поезду послали телеграмму такого содержания: «Не успели сесть в поезд, остались в Криворечье, присмотрите за больным». Конечно, идиотская шутка! Но знаете ли, кто окончательно погубил этого беднягу? Директор завода «Наследники Карла Вудта и К°». Когда его запросили, не замечал ли он и окружающие каких-нибудь странностей или ненормальностей у Пчеловодова, он так-таки напрямик и ответил, что давно уже считал старшего техника Пчеловодова сумасшедшим, а в последнее время даже буйно помешанным. Я думаю, он сделал это из мести.

— Но зачем же в таком случае держать этого несчастного, если вам все это известно? — заволновался я. — Выпустите его, хлопчите, настаивайте!..

Бутынский пожал плечами.

— Разве вы не обратили внимания на конец его письма? Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело. Этот человек уже год тому назад признан неизлечимым. Он был сначала одержим манией преследования, а затем впал в идиотизм.